
ИГОРЬ ШТОКМАН

ДОЛГОЕ ЭХО

(Что оставил нам Юрий Казаков)

Хочется, чтобы пришел кто-то сильный и заставил нас всех оглянуться.

Ю р и й К а з а к о в.
“Н а о с т р о в е”

Думаю все же, что его писательскую судьбу можно считать счастливой... Да, он молчал последние годы; да, критика далеко не всегда была к нему справедливой, но сам читательский резонанс, но тяга к его имени!.. В оценках – даже негативных – не было равнодушия, безличных полутонов и той псевдодиалектической нейтральной закругленности, когда кое-как сводят концы с концами, забывши о писателе. Казаков – такова уж сила подлинного и крупного таланта – заставлял всех, соприкасающихся с его прозой, выкладываться, обнажаться.

Зачаровывала и трогала душу уже сама мелодика его письма, эта будто песенная основа, строжайше выверенная тонким, чутким внутренним слухом и безукоризненно выдержанная... “Тембральный писатель”, – сказали мне как-то о нем, и я понял, что имел в виду мой собеседник. Это – переливы голоса, долгое, почти певческое дыхание, когда фраза тянется, длится, переходит из строки в строку, а замерев, отозвавшись в тебе тихим, как выдох, последним улетевшим звуком, вновь берет разбег в следующем абзаце, снова нарастает плавно набирающим силу рокотом.

“... А небо все так же сияло, и море сияло, и становилось еще продолжительней, дальше и ниже, а мы – на высоком носу, раскидывавшем ледяные хлопья пены, – как бы все повышались, повышались и вроде летели уже – туда, где за горизонтом стояло невидимое нам, но видимое небу, и морю, и спящим птицам солнце.

А справа от нас то уходил за горизонт, то приближался, восставал мрачный пустынный берег...” (“Северный дневник”).

Читать такую прозу, чувствовать ее дыхание, ритм, притертость слов – наслаждение почти физическое... Все любящие Юрия Казакова знают этот эффект, этот, я бы сказал, эстетический восторг, когда, читая, невольно ахаешь про себя, потому что слышишь постоянно, как сказано в том же “Северном дневнике”, некий “звук, все повышающийся до тончайшей бесконечности”, слышишь “шепчущий голос: О! О! Смотри!..”

Смотреть и в самом деле было на что, было во что вслушиваться... Перед нами широко распахивался и беспрепятственно впускал в себя знако-

мый и словно бы незнакомый мир деревьев, трав, вод и камней, закатов и рассветов — мы будто заново начинали жить на этих страницах, жить с новым, промытым зрением, обострившимся слухом. Это было какое-то колдовство, неуловимое, текучее, всякий раз иное...

Казаков мог “растянуть”, панорамировать пейзаж, по краске, по штриху, по звуку добавляя в него внутреннюю эмоциональную силу, нагнетая, наращивая впечатление.

“...Ночью тягуче вызванивают часы-куранты на кирхе, редко в два тона гудит электричка, потрескивает дом, шуршит в водосточной трубе лед, и шумит вдали море. Остро, колко пахнет зернистым снегом, сосновой корой и горькими липкими почками. С каждым днем все продолжительнее, все стекляннее вечерняя заря, все глубже и холоднее по тону небо над ней, все синей и пронзительней на востоке звезды. А когда закат погаснет, подернется слабой желтизной, переходящей в зелень, в лиловость, — черными тогда кажутся на его фоне деревья, дома с прозрачными верандами, кирха и крест на ней” (“Оленьи Рога”).

Здесь все идет волновым наплывом, добавляясь и накапливаясь, но Казаков мог добиться нужного ему эффекта и фразой одной-единственной, краткой и точной, как щелчок курка: “Ночь была вокруг меня...” (“Осень в дубовых лесах”).

Мастерство его было высоким, несомненным, и писать о нем, с наслаждением множа примеры, можно бы долго, но сейчас мне более хотелось бы поразмышлять о другом: а к чему оно шло, это мастерство?.. К чему “прикладывалось”, а что было нацелено?.. Вопрос этот тем более правомерен, что упреки, снисканные Юрием Казаковым в критике, касались как раз содержательной, идейной стороны его творчества — в том, что он талантлив, прекрасно владеет формой, стилем, не сомневался, похоже, никто.

Ругали его, надо сказать, нередко, и в этом своде критических оценок, помимо чисто вкусовых и, деликатно говоря, грубоватых суждений о “литературщине”, “красивости” и даже... приверженности к декадансу (!), часто всплывало одно и уже серьезное (не отбросишь!) соображение об “асоциальности” Казакова, отсутствии у него “горячего интереса к современности”.

Чувствую, что необходима оговорка... Я вовсе не стремлюсь быть умным и пронизательным задним числом или же, что называется, сводить счеты... Просто, опусти я этот момент, не получится, полагаю, разговора о самом главном: для чего же писал этот художник, зачем? Что хотел сказать нам?

Итак — асоциальность... Упрек этот интересен в той мере, что он (так иногда бывает), схватывая что-то в природе, самом нерве прозы Казакова, совершенно неправильно, абсолютно неточно формулировался.

Вот высказывания самого писателя...

Очерк “На мурманской банке”. “И зачем все это? Зачем бросать свой дом, пускаться в путь, спать на полу, на лавках в глухих деревнях, на тонях, на мху возле костра у ночной шумящей реки, смотреть в незнакомые лица, слушать всех людей и трогать их руки? Затем, может быть, чтобы в тысячный раз сказать, что жизнь не остановилась, что солнце еще встает над океанами и ветер крепко бьет в скулы корабля и что это прекрасно? И что люди гнутся в тяжелой работе и проводят ночи в любовном поту, и сердца их открыты для счастья и скорби, и они знают все о нашем времени — и что это тоже прекрасно?”

Очерк “Калевала”. “В поездках со мной постоянно бывает — то ничего, и все как-то мимо, и дорога отвратительная, и люди попадают все неинтересные, и чувствуешь, как то, из-за чего проехал все эти тысячи километров, — не дается, уходит, и кажется уже, что и вообще-то ничего нет, зря ехал.

А то вдруг все является, все складывается как нельзя лучше, без всяких твоих усилий и именно так, как ты хотел. Радость тогда, сперва неуверенная, а потом все более полная, охватывает тебя, и жизнь прекрасна, и люди хороши, и писать о них хочется до смерти — вон они какие, вон они как работают, вон они все сильные, большие — лучше тебя!”

Думаю, что в словах этих, очень личных, очень откровенных, хорошо ощутимо творческое кредо Юрия Казакова.

Казакова постоянно волновала и притягивала первооснова жизни, ее глубинная, властная сила, проявляющаяся не в “социуме”, не в недрах “сегодняшнего дня”, а в постижении человеческой природной природы, лучше всего видной в ярком свете “вечных” проблем: труд, любовь, обретение счастья и его хрупкость, ранимость... Искалось – в глубине, и можно ли считать подобное “асоциальностью”?..

Скорее, это – неприятие социальности, толкуемой дежурно как “приметы современности”, именно приметы, не более того... Что же касается “декаданса”, то какой уж тут декаданс, когда писателем был исхожен, изъезжен, исплаван весь Север, и своих моряков, охотников и рыбаков, своих несторов и киров Казаков писал прямо с природы... .

Пропущенное “сквозь призму сердца” (Жуковский) всегда было у Казакова в строгой, точной раме реальности и подчинялось ей.

Однажды Казаков, будто намеренно, обнажил это соединение... В “Оленьих Рогах” была у него девочка, школьница, жила в доме отдыха где-то под Ригой. Ей шестнадцать лет, “воображение ее наивно и романтично”, она “летает во сне над холмами, слышит тихую музыку, и у нее щемит сердце от страха и восторга”. Она, стыдясь, втайне от всех еще зачитывается сказками и однажды в пустом, заколоченном доме видит... троллей. Камзолы, голландские трубки, старинные танцы, лютни, изящные, почтительные поклоны... .

Сказка и явь, ожидание, желание чуда и – его близость, реальность!.. Почему, как, в чем тайна?..

Самый старый и самый мудрый тролль открывает ее девочке. Он показывает ей в щелку ставен то, что она видела до этого каждый день: солнце, холмы, поросшие соснами, фигуру знакомого лыжника. Только теперь это почему-то – в том самом таинственном доме с оленьими рогами, в комнате, где были тролли, в н у т р и сказки... .

Это реалистическое Зазеркалье, глубокое и точное, всегда существовало в рассказах Казакова. Рано или поздно, но его героям п р и х о д и л о с ь смотреть в него, в это холодное металлическое сверкание подлинности, разводящее все по своим местам, как велят логика и русло жизни.

Любовь, дарующая счастье, ибо рядом – единственно нужный тебе человек, да не способная причинить боль, сломать гармонию двух природы (“Осень в дубовых лесах”).

А если – в город, если – к людям, если – о, блеск Зазеркалья и самосарказм Казакова! – у единственного твоего человека в этом городе просто-напросто прописки нет?! Что тогда?

Труд, работа, способная заменить собою все несбывшиеся желания, все мечты и устремления (“Проклятый Север”).

А если, рано или поздно, отпуск вдруг – ведь не может человек работать, вовсе не отдыхая, – чем тогда спастись?.. Травить душу памятью о том, что было и прошло мимо в потоке жизни, не закрепившись возле тебя; пить по утрам сухое вино, по вечерам – коньяк, ругать этот треклятый отпуск и хотеть снова в море, треску ловить?..

Языческая радость от красоты окружающего бытия, вечно живого пульса природы, когда большое рыжее солнце медленно валится за черные стволы, а ты стоишь с ружьем в чаще и ждешь хрипа летящего вальдшнепа (“Плачу и рыдаю”).

Но природа вечна, ты – смертен, и что ей до тебя, до твоей души, ее неуспокоенности... .

И все это – при горячем, живом чувстве, остро ловащем каждый раз возможность, близость счастья... Мучительно!

Мне кажется, что Казаков настойчиво, из рассказа в рассказ, был занят поисками земли обетованной для души человеческой, поисками надежного и верного ее прибежища... Он очень хотел найти для своих героев ту ситуацию, ту внутреннюю атмосферу, в которой их чувству дышалось бы широко и вольно.

Отсюда – пресловутый казаковский минор, обретший в критике печальную известность, и художник Агеев из “Адама и Евы” в трудной, очень важной для него беседе с Викой скажет, побледнев: “Они (пишущие о его картинах. – **И. Ш.**), когда говорят “человек”, то непременно с большой

буквы. Ихнему проясненному взору представляется непременно весь человек — страна, тысячелетия, космос! Об одном человеке они не думают, им подавай миллионы. За миллионы прячутся... ма-ассы! Вот они, массы, — Агеев кивнул на пассажиров. — А я их люблю... Я их во плоти люблю — их руки, их глаза, понятно? Потому что они землю на себе держат. В этом вся штука. Если каждый хорош, тогда и общество хорошо, это я тебе говорю! Я об этом день и ночь думаю...

Полагаю, что это не только монолог Агеева; это — вспомните отрывок из очерка “Калевала”! — мысли и суждения самого Юрия Казакова, выношенные, дорогие для него.

Какая уж тут “созерцательность”, какая “отстраненность”, при чем они тут?..

Просто Казаков писал о том “всечеловеческом” человеке, о тех его чувствах, остром контакте с жизнью, отклике на нее, что были и будут всегда, пока жизнь течет, длится, пока есть все мы и сердца наши и впрямь “открыты для счастья и скорби”.

Этот сокровенный человек Юрия Казакова как бы заслонял собой в его рассказах все остальное... Он был так внутренне полон, так насыщен — за всех нас! — чуткостью сердца, остротой зрения и слуха, слиянностью с жизнью в ее первичной, первородной данности, что необходимости в густо заселенном фоне, ином “материале” уже и не было... Оттого так и малолюдны казакские рассказы: один, два, редко-редко — три персонажа.

То была традиция русской классической прозы — от Тургенева до Пришвина... Воспринятая Казаковым органически, всем его сердцем и писательской сутью, она имела свои начала, а “концы” длились, уходили далее через его творчество к иным, новым писательским именам и произведениям.

Памятный всем нам бакенщик Егор, с несомненным его даром, талантом и тусклой, вялой жизнью, когда талант просыпается, окликает себя лишь иногда, напоминает — одновременно — и тургеневских “Певцов”, и многих персонажей Шукшина... Душа, живущая лишь в песне; душа, жаждающая праздника. Один, единый человеческий тип; одна, общая боль...

Внутреннее родство меж Казаковым и Шукшиным есть, на мой взгляд, и в их отрицательных, ниспровергаемых персонажах, в точной, злой и обличительной лепке характеров всех этих “крепких мужиков”, как назвал один свой рассказ Шукшин... Впрочем, у него были и наглые продавщицы (“Обида”), и не менее наглые жены, доводящие мужей до того, что те за топор хватались (“Беспальный”), и почти фантомная в официальной своей неуязвимости, неприкасаемости вахтерша из больницы (“Кляуза”).

У Казакова же, точно, в отрицательных были одни мужики... Те самые, “крепкие”, в которых колом торчала и сразу же была видна какая-то нутряная, нахрапистая сила, не облагороженная ни умом, ни сердцем... Жадно плотское, темное торжествовало тут, брало верх и прорезалось похотью, скотством, пьяной дурью (“Некрасивая”, “Странник”, “Ни стуку, ни грюку”, “Легкая жизнь”).

Настоящее, подлинное человеческое счастье всегда было для этих людей как бы на дальнем, другом берегу, куда им никогда (!) не доплыть, не дотянуться... Да они и не знали этого берега, не жаждали его, и сам Казаков искал его, конечно же, не для них. Тут впустую были бы самые долгие крики...

Он писал для других и хорошо знал, зачем, почему пишет.

“Ты пишешь и думаешь, что литература — это самосознание человечества, самовыражение человечества в твоём лице.

Об этом ты должен помнить всегда и быть счастливым и гордым тем, что на долю тебе выпала такая честь...

У тебя нет власти перестроить мир, как ты хочешь, как нет ее ни у кого в отдельности. Но у тебя есть твоя правда и твое слово...” (“О мужестве писателя”).

...Я вслушиваюсь в долгое, не покидающее нас эхо рассказов, очерков Казакова и думаю, что он, конечно же, имел полное, несомненное право на эти гордые и мудрые слова.